Очень синий, очень шумный

Автор:
Константин Наумов

Очень синий, очень шумный

Константин Наумов

Лабиринты Макса Фрая

Мне уже давно хотелось издать книгу Константина Наумова; автор на это сперва говорил: «Рано думать о книге, у меня пока слишком мало рассказов», а потом: «Я подумаю», а потом: «Я подумал, надо кое-что выкинуть и еще несколько текстов написать». Ну и так далее. Нормальный в общем рабочий процесс. А в январе 2018 года Константин Наумов погиб, и теперь мы издаем его книжку без спроса. Время от времени я сажусь и пишу ему письмо с извинениями и объяснениями: «У вас очень крутые рассказы, будет обидно, если их никто не прочитает, тексту все-таки нужен читатель, как растениям свет и вода». Пишу, а потом стираю – а как еще переписываться с мертвыми? Неотправленные, стертые письма – единственный вариант. Я очень не хочу, чтобы это издание выглядело мемориальным, «в память о…», – ну, как обычно в таких случаях говорят. Не мемориальное оно. Это хорошая книга очень хорошего писателя, которую мы с ним вместе просто не успели издать, думали, что у нас еще много времени, а его у нас не было; впрочем, никакого времени вообще нет.

Константин Наумов

Очень синий, очень шумный

© Константин Наумов, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Моей семье

Острова

Одно место из многих – поворот, где старая военная дорога уходит вверх от Пянджа. С афганской стороны – битый камень, узкая тропка вверх-вниз. С нашей – тропинка от дороги, свечки тополей, ржавая колючая проволока – минное поле последней войны. На знаке – человек с оторванной ногой, надпись «осторожно – пехотные мины». Человек скопирован со знака «пешеходный переход». Оторванная нога летит мимо, а он упрямо шагает вперед – одноногий стойкий оловянный солдатик.

Если лечь на мелкие камушки рядом с тропой, виден обрыв, блестит Пяндж внизу, пахнут полынь и душица. Памир упирается в небо белыми шапками. Нужно закрыть глаза, и через тебя потечет время. Или – время остановится, и ты потечешь сквозь него, это, понятно, – без разницы. Сквозь закрытые веки – красный свет, цвет твоей и моей крови.

Когда откроешь глаза, будет пахнуть чуть по-другому, иначе блеснет река, лицо твоего водителя окажется незнакомым, и он будет старше. Это другой мир – вот и все, не в первый и не в последний раз, правильно?

Еще можно вернуться – когда ты только открыл глаза. Закрой их снова, дыши. «Ткань тонка, иголка остра – время вернуться», – повторяй эти глупые стишки, крути их в голове по кругу, следи за светом, за запахами, за ощущением –

вовремя открой глаза и ты окажешься там, где был. Может быть. Может быть.

Нет – тогда живи новый мир, открывай, замечай разницу. Вода здесь вкуснее, кошки – злее. Смешной зверь выдра – пугливее.

Следи за запахами, следи за ощущениями. Хочешь развлечься – думай о том, как узнать самый первый мир, тот, из которого ты родом. Или прикидывай – сколько их было, какие они были. А первый – его тебе все равно не найти. Я, например, понял про миры ощутимо позднее, чем начал шагать между ними. Как угадать, даже если случайно попадешь туда? По запаху? По звуку?

Ребенку легко сделать шаг из мира в мир – и потеряться навсегда. Вот, например, – я очень помню – был тот день, когда все не так с утра. Речка – дура, бабочка – кретинка. Родители смотрят чужими взглядами, комната выглядит странно, непривычно. У книжек в шкафу – чужие переплеты, в узкое пространство за кроватью можно вдруг просунуть руку, а сосед – полный балбес – оказывается не так уж плох. Стоишь на воротах, не понимая, в чем смысл игры (тебя потому и поставили на ворота), и вдруг – простое, очевидное – да просто я проснулся сегодня не туда. Чужой, новый мир – весь твой, чтобы узнать, отличить, запомнить.

Сколько их было? С желтым, желтоватым, красноватым солнцем? С огуречным запахом у травы и с травяным – у огурца? Очень осторожно я пробовал LSD, потому что описание было похоже – оказалось – не то, шагать между мирами – совсем другое. Наркотик ничего не меняет, кроме твоего собственного восприятия – предельно глупый способ увидеть что-то новое. Нужно иначе.

Иногда ты хочешь сделать шаг. Иногда все происходит само собой. Ты живешь мир за миром, жизнь за жизнью. С доброй мамой, злой мамой, чужой мамой. С верным другом, скучным другом, мертвым другом. Шагаешь из вселенной во вселенную, а люди вокруг говорят: прошло столько лет, смотри-ка, ты совсем не изменился. Ты приносишь новый снимок в новый паспорт – и чиновник долго сравнивает их. Недовольно сопя, ищет разницу, которой нет.

Жизнь течет вокруг тебя, пока ты лежишь на мелкой щебенке, где-то у горной дороги на высоком Памире. Открой глаза, открой мир вокруг себя. Через тебя течет время, ты – все тот же. Бесконечная череда вселенных, чтобы прожить свою долгую-долгую жизнь. Но среди множества обитаемых миров есть одна вещь, что не дает мне покоя, вопрос без ответа и без возможности ответа. Вот он: когда я открываю глаза в новом мире, кто занимает моем место в предыдущем? Кто, неотличимый от меня, живет там, пока я – живу здесь?

Крылья

…одна огромная комната: старинная ванна почти в середине, длинная галерея – узкая лестница ведет в патио: на дне пересохшего бассейна – тонкие скелетики летучих мышей.

…деревянные, старые и опытные; они стонут непрерывно: первый аккорд, когда касаешься ногой – это звучат поверхностные слои древесины, крошки и грязь в трещинах. Наступаешь – и начинает петь, прогибаясь, сама доска – звук трения о соседей, звук собственных трещин, тоскливый скрипт гвоздя в ржавой дыре. На долю секунды стихает, и настоящий стон – когда ступенька теряет нагрузку – громкий, надрывный.

…креольском кафе – лестница выходит прямо в зал – принимают только наличные, конечно: липкие пластиковые банкноты из автомата на углу. На его железной клавиатуре вдавленные арабские цифры и латинские буквы – под коркой перманентных маркеров разных цветов. Поколения аборигенов наносили их слой за слоем – трудно поверить, как много письменных систем используют собственную цифровую нотацию. Автомат берет карточки, но охотнее выдает кэш прямо со счета – оставляя каждый день новую подпись в деталях платежа, каждый раз удивляя заново его швейцарский налоговый компьютер.

…настоящий кофе и настоящие яйца, залитые силиконом вместе с куриным пометом – чтобы не было сомнений в происхождении. Силикон сползает, как кожа, обнажая блестящую поверхность (кальций? пластик?), хозяйка бьет яйцо о край древней сковородки. Сковородка кривая, под дальнюю сторону что-то подложено, чтобы драгоценный натуральный белок не сбежал в прогоревшую дыру. Вода для яичницы продается в отеле на пляже – длинные бутылки, герб островов Фиджи на этикетке: сомнительно натуральная, но – лучшее, что здесь есть. Все чашки разные – в паутине трещин, так что кофе – сколько кому повезет. Настоящая глюкоза только в одном виде – большой французский флакон с жидкостью для его старого корректирующего импланта. Одна из первых гражданских моделей – на чистом сахаре (военный предок, по слухам, создавал дикие проблемы сержантам, питаясь только этанолом). Это самые натуральные завтраки в его жизни – по всем канонам, принятым у пилотов. Только настоящий белок – крылья вытянут все из тела, глупо остаться без сил над холмами или над морем. Завтрак, рюкзаки со снаряжением, и – по улочкам, которые мостили еще инки – вверх, вверх, вверх. Старинная канатная дорога: двери вагончика на пластиковых хомутиках, ненадежная магнитная защелка, ржавое железное колесо, трос – давно из фторопласта, в ошметках армейской UV изоляции. Его стальной предшественник наверняка сказочно обогатил хозяина, сдавшего его на металлолом.

Здесь на вершине – бриз с моря. Крылья выпадают из рюкзаков мокрыми комками, мертвые, отвратительно серые – первые мгновения, пока не почувствуют солнце. Обнажение – и режущий ветер, холод в паху – поскорее, поскорее, они натягивают комбинезоны на голое тело. Ловят взгляды друг друга – это холод и маленький праздник общей наготы. Ритуал нанесения сверхстойких кремов – взаимные нежные поглаживания по лицу, шее и открытым запястьям. Его UV протектор – темно-синий, очень мальчиковый – удобно контролировать толщину слоя. Три пары крыльев уже ожили, в слоях пленки пульсируют вены. У него – черные, анимированный голографический рисунок: классика – Гигер, оригинальная лицензионная репродукция прошлого века – почти треть стоимости всего комплекта. Вторая пара переливается радугой в такт татуировкам пилота, а крылья Греты – модный в сезоне мимик. На старте они белые, в воздухе компьютер сделает их видимыми только под определенным углом – для любовников хозяйки – и станет непрерывно пересчитывать этот угол по данным GPS. Огромные белые крылья – так увидят пилота другие двое, для случайного зрителя она будет только обнаженной девушкой в небе. Девушкой в нанопорной маске, прозрачный комбез имитирует ее плоть там, где к промежности прилегает система рециркуляции: чтобы дать

почти треть нужной воды крыльям и пилоту. В каждом досужем разговоре о полетах: «двенадцать часов в воздухе? а как вы ходите в туалет?»

Приходит порыв, они взлетают синхронно, в ровный поток, первые взмахи – самые важные. Крылья должны настроиться и согреться, пилот – почувствовать воздух. Сегодня странный ветер: плотный, но не дающий ощущения опоры, он не любит такой, нужно выбираться выше. Холмы и море внизу – маска медленно вплетает в пейзаж перед его глазами голографические нити восходящих потоков и ветров – эти данные они получают от доплеровских спутников арабской сети, ретранслятор прикручен скобой к старой трубе внизу, на крыше отеля, там, где белые точки, – хозяйка сушит их простыни.

…место немодное, эти трое – вот и все пилоты, кто летает на побережье. Восходящий поток пахнет пылью – это от выгоревших холмов, от развалин храма чуть выше, поток пахнет морем – это от моря. Он дает подхватить себя – хороший пилот крыльями не машет. Набирает высоту и вертит головой, высматривая подъем. Новый поток (судя по запаху – от сомовьих ферм вдоль реки) мягко несет его вверх, один пилот чуть выше и еще один – чуть ниже. В высоких горах – он смотрит туда, медленно поворачивая голову в такт закручивающемуся термику, в высоких горах быстро развивается облачность, к вечеру будет гроза. Маска, чувствуя направление его взгляда, алыми нитями голограммы рисует поверх облака карикатурную тучу, которой оно станет через несколько часов. Нестрашно, крылья все равно понесут на юг – дальше и дальше в горы. Поток хороший – минуты через три его можно будет бросить и идти к хребту слева. Краем глаза он следит за остальными: ему нравится двигаться в такт. Эротическое напряжение не оставит его весь день, весь полет, давая, может быть, больше, чем нежный секс в ночь длиной, когда то один, то другой уплывает в сон, чтобы вернуться через долгие минуты. Ему ничего не снится этими ночами.

Три пилота синхронно, как в балете, – на юг, к скудным шапкам летних глетчеров, к голым скалам и мертвым водопадам. Когда день переломится, они подхватят от солнца ветер, вернутся к побережью; новый поток понесет их обратно, над зеленью, сквозь запахи моря и суши – к маленькой посадочной площадке голландского отеля. Он думает об этом, слезы режут ему глаза под маской, крылья сбиваются на мгновение. Над холмами, над морем – ветер несет пилотов на юг.

Одна подушка на двоих

Некий философ неожиданно приглашен прочесть лекцию в Мюнхене. Он удивлен. Человек уже не молодой, двадцать лет заведует самой незаметной кафедрой университета Осаки. Поляк по национальности, он получил степень в Штатах и много лет тянул лямку непопулярной темы философии марксизма в холодной Северной Дакоте, пока падкие на экзотику японцы не предложили ему кафедру, принятую тут же и с восторгом.

Он приезжает в Мюнхен – покинув Японию первый раз за семь с половиной лет (чего сам он, конечно, не помнит: предыдущая поездка на похороны двоюродного брата в Остин была очень скучна). Лекцию переносят со среды на четверг, философ узнает об этом, явившись в тесном для него костюме в пустой и гулкий лекционный зал. Неприятно удивленный, он отказывается от услуг ассистентки кафедры – она хотела бы сопровождать его по городу – и заходит в кафе на углу.

Философ прекрасно знает немецкий, хотя несравненно больше читает и пишет на этом языке, чем говорит. Он ведет, тем не менее, спецкурс по теории исторического процесса исключительно по-немецки, имея по этому поводу сложные переговоры с университетом перед началом каждого года. Сухой и академический, его немецкий немедленно отказывает в шумном и людном месте, философ с трудом понимает людей вокруг, а оглядываясь, видит, что попал скорее в пивной бар – везде блестят высокие кружки и запотевшие стаканы. Он просит чаю, красивый худой официант в черном, похожий лицом на молодого верблюда, говорит быстро и жестикулирует, как будто играет сложную пьесу на клавесине. Чаю в этом кафе не подают, но, почти пританцовывая, официант приносит заказ, это – его, официанта, любимый сорт домашнего чая. Стесненный костюмом, философ чувствует себя очень глупо, видя на подносе крошечный чайник и кофейную – чайных здесь нет – чашку. Как только философ делает первый глоток, отвратительно пахнущий имбирем и корицей, он вдруг понимает, что испытывает сильное физическое влечение к официанту. Смущенный и растерянный, он пьет и смотрит, как официант,

заложив узкую наманикюренную руку за спину, слушает молодую даму с ребенком, медленно покачивая головой в ответ: красиво наклоняя ее влево, потом вправо. С ужасом философ думает, что если и на самом деле является геем – ему придется строить свою жизнь с самого начала совершенно. Он вспоминает жену-японку, взрослого сына, свою кафедру и студентов, резко встает, оставляет мелочь на столе и поспешно идет в выходу.

Ночью в его номер последовательно стучат (и он открывает каждый раз): два корейца с грязными рюкзаками и какими-то веревками, через час – пьяные девицы, роняющие пивную пену с горлышек бутылок и говорящие с сильным австралийским акцентом, как только он засыпает – солидный господин, которого сопровождает носильщик. У последнего есть мастер-ключ, так что философ сталкивается с этими двумя уже в гостиной. Выпроводив их, он добирается до кровати, почти засыпает, но отвратительно-внезапно звонит телефон – портье хотел бы извиниться за неудобство и предложить одну ночь бесплатно за счет отеля. Философ посылает портье к черту на очень удобном для этого немецком языке, хотя с ним говорят по-английски.

Утром, совершенно разбитый, он открывает лекцию с трехминутным опозданием. Стараясь не смотреть на молодых людей в зале, он долго перебирает бумаги, а подняв глаза, упирается взглядом в молодого человека в первом ряду, который глядит в ответ с нескрываемым скепсисом. Понимая, что студент специально сел в первый ряд, чтобы спорить и задавать вопросы, философ чувствует, как пуста в этот момент его голова, пуста совершенно. У студента из первого ряда большая родинка в уголке брови, из нее растут волосы. Глядя на родинку, философ думает о том, какая это бровь – левая или правая. Если бы это была моя родинка, рассуждает он, какая бы это была сторона, какая рука? Оставив бумаги, в молчании вежливой аудитории, философ долго рассматривает свои руки, спускается с кафедры и выходит на улицу, а через квартал видит человека на странном, как бы двухэтажном велосипеде. В отель философа привозит полиция.

Следующим утром его провожают к завтраку, в большом зале холодно, и он, с трудом подбирая слова на ставшем чужим и ломаным немецком, просится в тепло. Не до конца его понимая, управляющий отеля сам отвозит его в аэропорт,

и через три часа философ уже летит в Манилу. На Филиппинах, причиняя своей беспомощностью множество проблем всем, кто встречается ему на пути, он довольно быстро теряет багаж, деньги и документы. Цепочка случайных событий приводит его на один из самых незаметных из тысяч филиппинских островов. Немец по имени Отто – хозяин дайв-центра, берет его на работу: философ, хоть и совершенно забыл об этом, в Японии занимался дайвингом – с подачи жены – и весьма серьезно.

Работается и живется ему легко, Отто не платит денег, но покупает все необходимое. Философ живет в каморке, сквозь пол которой видна вода лагуны, и ныряет в неизменно драном гидрокостюме: ему отдают снаряжение, которое нельзя больше сдать в аренду. Обедает философ всегда в кафе напротив дайв-центра, за что Отто платит помесячно небольшую сумму. Хозяин кафе – улыбчивый трансвестит-метис – однажды пробирается в каморку философа ночью. Каким-то образом это становится известно всей деревне, но случилась что-то или нет, не знает, кажется, никто и в первую очередь – философ. Он не знает также, что жена ищет его с первого дня, ищет, занимаясь этим как работой – аккуратно, по восемь часов в день, стараясь начать и прекратить поиски точно в одно и то же время, так как очень боится сойти с ума. Ищет одна, тогда как их сын совершенно уверен – отца нет уже в живых. После нескольких совершенно бесплодных лет поисков (дважды за это время она была на Филиппинах, но оба раза – не там), жена философа едет в родную деревню на Хонсю, чтобы заказать службу по усопшему в буддистском храме. По окончанию службы, внезапно для себя, она совращает немолодого настоятеля, хотя все эти годы в поисках мужа вела совершенно целомудренную жизнь. Ровно в то мгновение, когда голый и потный монах пытается напоить ее водой (у жены философа – истерика), философ просыпается в своей каморке. Он надевает гидрокостюм и маску, неспешно заводит хозяйский скутер и мчится на нем через ночь, прыгая с волны на волну и каким-то чудом сохраняя направление – точно на маленький храм прибрежной деревеньки японского острова Хонсю, когда же кончается топливо, философ спокойно засыпает на руле. Через два дня его вместе со скутером прибивает к острову, где арендует бунгало немолодой рантье, только что переживший бурный разрыв отношений. Заметив тело философа (тот сильно обгорел и обезвожен), рантье бросается в воду, тащит, толкает скутер, с трудом волочит философа в бунгало (старый гидрокостюм ползет и рвется под руками), где успешно пытается напоить соком и мажет ожоги кремом от солнца. Одинаково обессиленные: к одному из них жизнь только начинает возвращаться, второй – на грани сердечного приступа от переутомления, они засыпают на одной подушке. Ни рантье, ни философ

никогда не узнают, что уже виделись в Мюнхене – мельком – много лет назад.

Off the beaten track

Отчаяние. Физически ощутимое отчаяние, стучащее пульсом под ногтями, сводящее спазмами живот; сидеть на месте не было сил. Осторожно ступая в полутьме раскаленного барака, Иржик добрался до стены и нашел глазом длинную белую щель. Во дворе ничего не изменилось: песок, пыль, пластиковый мусор, его машина – открыты все двери, капот и багажник, вещи разбросаны вокруг. Пальма у дальней стены – серая. С деревом было что-то не так, но глаз слезился от страшного, почти без теней солнца на улице. Сухая пальма. Мертвая. Отчаяние скрутило кишки с такой силой, что Иржик завыл в голос.

С утра надо было ехать в пригород: огромный скучный район, то, что называется «городская черта» – разросшиеся в бесконечность кварталы застроек, моллов, заправок. Надписи на двух языках, второй – украинский: самое большое сообщество в стране, они живут там годами, не желая учить язык. Иржик работал менеджером-консультантом, то есть продавал встраиваемые холодильные установки. Работа как работа, все время на колесах, все время – в пределах города. Как у всех работа, а Иржик и был – как все. Жизнь не без темных страниц (пьющая мать), и не без светлых: Иржика любили девушки. Он давно перешел границу того, что называется молодостью, но сохранил беззащитный взгляд тинэйджера и юношеское отношение к окружающему: это когда в твоем распоряжении все время мира, и все у тебя впереди. Девушкам нравилось.

Он сломал руку совершенно глупо, так глупо, что даже удачно – на работе, так что страховка покрыла все на свете и даже больше. Шоком для Иржика были слова доктора о том, что рука не будет разгибаться до конца. Никогда. «Как вы хотели, Иржик, – улыбался доктор, – возраст уже не тот». Офис врача пах синтетикой, у медсестры в приемной из уха торчал костяной шип. У инфантильности, кроме бонусов, есть неудобный побочный эффект – Иржик и вправду никогда не задумывался: сколько же ему на самом деле лет. На улицу он вышел совершенно потрясенный. У него (Иржик все щупал руками) было

дряблое лицо. Его девушкам (он даже вздрогнул) было больше лет, чем маме его самой первой. У него был возраст и не разгибающийся до конца локтевой сустав. Он баюкал больную руку и чувствовал взгляды прохожих: седеющий, одетый ярко, как мальчишка, человек в беговых кроссовках и кожаном пиджаке. От жалости к себе в глазах закипали злые соленые слезы.

Следующим утром Иржик проснулся с трудом. Одна из его девушек была помешана на психологии и «взгляде со стороны», а сейчас было самое время. Иржик смотрел на себя со стороны сидя на унитазе, пока готовил завтрак, одеваясь, по дороге на парковку. Со стороны Иржику виделся молодящийся немолодой человек. Пускающий газы. Съевший на завтрак пахнущие арахисовым маслом шоколадные шарики в молоке, из упаковки с веселой уткой. Человек с дряблым задом и в узких джинсах. На джипе Wragler – мечте любого подростка. Едущий на скучную работу, которую любой подросток мог бы выполнить.

Иржик стоял в пробке и ненавидел себя. Прямо перед ним, чуть не зацепив его Wrangler Special Edition, проехал велосипедист, Иржик проследил за ним и взглядом уперся в палатку. Палатка стояла на тротуаре, прямо под вывеской Off the beaten track. Отчаянно извиняясь и маша рукой, под гудки всей пробки, Иржик припарковался перед магазином. Ему было лет девять, да, точно девять лет, когда один из приятелей мамы взял его в двухдневный поход: Иржик до сих пор помнил эти два дня по минутам. Форель, которую мамин приятель потрошил, еще живую, и перекладывал травой, два восхода и один закат. Запах тропы и полыни, воду из ручья. Палатку и рубчатую тяжесть фонарика в руке. Как они видели оленя. Хозяин магазина сам стоял за кассой и сам бодро оттуда выскочил, увидев священный огонь кризиса среднего возраста в глазах покупателя. В Off the beaten track было два этажа и маленький подвал. В Off the beaten track было все. Одежда, палатки, обувь, неожиданно для Иржика – отдельный большой отдел с системами очистки воды. Еда: сублимированная, рационами, ящиками – любая. Очки, ножи, горелки, репелленты. Магазин пах металлом, веревками и пряностями. У Иржика тряслись руки, он чувствовал себя, как дома. Ну, не до конца, но он почти попал домой.

Закрепить резервный бак в багажнике обещали за два часа. Иржику не устал, просто страшно хотелось есть. Он вежливо подвинул мексиканцев, выудил из

походного ящика пакет с карри, прислонился к джипу и осторожно потянул полоску химического активатора. Пакет зашипел, разогревая содержимое, мексиканцы цепляли тали к огромному баку. Иржик открыл пакет и понюхал. Пахло вкусно. Полез обратно в багажник за ложкой, стоя на коленях нащупал ее – титановую, сверхлегкую и понял, что счастлив.

За три дня дороги счастья не убыло ни на гран. День ушел на то, чтобы выбраться из провинции – четырнадцать часов за рулем: от заката до рассвета. Теперь Иржик ночевал у ручьев Озерного края: осень еще не начиналась, только верхушки кленов чуть тронуло золотым и красным. Он гнал по Великой Тропе – туристическому маршруту через весь североамериканский континент, от океана до океана. Утром пятого дня он видел, как на Великую Тропу вышел медведь. Карты у Иржика не было, не было и навигатора, а телефон он выбросил вечером первого дня. У него было вдоволь еды, и ел он очень много. У него было вдоволь дизеля – и его Wrangler тоже ел очень много и тоже был счастлив. Породистый джип, предки которого были придуманы для самой тяжелой из войн, легко брал подъемы, тянул в гору, два раза пересек речку вброд; Иржик каждый раз пользовался лебедкой, без особой надобности – для надежности. Дни шли за днями, Иржик и джип все гнали вперед, не торопясь, но верно, как на марафоне. Озерный край постепенно кончился, кончились леса и речка – дорога из бетонной стала асфальтовой, пустой и жаркой. Машины попадались реже и реже, и это было хорошо. На очередной заправке хозяин говорил по-испански, и взял только наличные. Древний заправочный автомат: полоска малярной ленты с надписью маркером по-испански поверх «DANGER, emergency shut off outside»: «Por favor…» и дальше непонятно.

Иржик попробовал все варианты рациона, дважды видел на стоянках гремучих змей. У него было еще много дизеля, но кончилась вода: он принимал душ каждый день – из нагреваемого солнцем двадцатилитрового бака на крыше. К обеду, увидев пятно зелени, он съехал с дороги и погнал напрямую. Земля под кустами была сухая, в трещинах; Иржик нашел взглядом следующее пятно. Вода нашлась на закате: узкая струйка в середине широкой полосы грязи; Иржику было все равно – у него есть фильтры. Утром он понял, что не сможет вернуться к дороге: на плотной почве джип почти не оставил следов. Ориентируясь по солнцу – на юг и немного на запад, чтобы попасть к океану, но чтобы не очень скоро, он провел за рулем весь длинный световой день, объезжая заросли, перебираясь через засохшие ручьи. Засыпая в пахнущей синтетикой палатке –

после отличного ужина и душа из согретой солнцем воды, Иржик улыбался.

Следующим утром солнце взошло на западе. Иржик помнил, как ставил палатку и машину: заходящее солнце светило прямо в палаточную дверь. Теперь туда светило солнце восходящее. Оно было красное – из-за пыли в воздухе. Тончайшая пыль покрывала все в палатке: спальник, все вещи, все. Такой же пылью был покрыт джип, палатка снаружи и кусты вокруг. Пыль резко ограничивала линию видимости: кусты, сухая земля и дальше – бурое ничего. Гоня прочь бредовую мысль о том, что он на Марсе, Иржик собрался, развернул машину и погнал в прежнем направлении – на юг и немного на запад. Или в обратном направлении – если верить вчерашнему солнцу.

Wrangler умел фильтровать воздух, внутри пыли не было, только дизель грелся сильнее и сильнее и через шесть часов дороги перегрелся совсем. Иржик остановил машину, потянул за рычажок капота, открыл дверь – как в домну. Снаружи было не просто жарко – было нечем дышать. Морщась от мгновенно выступившего злого пота и пыли Иржик добежал до капота, захлопнул его и вернулся в машину. Угрюмо глядя на стрелку (все еще в красном секторе) он понял – все, накатались, надо выбираться. Дотянулся до кнопки навигации, вспыхнул экран, анимированный логотип Jeep на экране: у Wrangler-а были карты всего континента. Синяя стрелочка помигала у офиса (последнее место, где включался компьютер) и красиво анимированная планета полетела на экране, раскручиваясь все быстрее и быстрее.

Сраная Африка. Иржик вжался затылком в подголовник, понимая, что все – правда, никакой ошибки. Карты для Африки у Wrangler-а не было: пустой контур и стрелочка где-то в середине. Какая это может быть страна, Иржик не знал даже приблизительно, как не знал, сколько вообще там этих стран в этой Африке. Судан? Сомали? В джипе было прохладно, пот ледяными каплями выступал на лбу.

Дав двигателю остыть, Иржик завелся и поехал, следя краем глаза, чтобы стрелочка показывала к ближайшему краю континента, к океану. В порт какой-нибудь, например. Дороги все не было, была сухая саванна вокруг – сезон

засухи. В голове стучало: ехал-ехал и заехал, слева мелькнули уродливые серые горбатые коровы, и оглушительный грохот заставил Иржика ударить по тормозам. Когда по машине стреляют из автомата Калашникова – это бывает именно так: как если бы кто-то лупил молотком по пустой бочке, в которой вы сидите.

Иржик скулил. Обувь они забрали: песчаный пол барака был покрыт чем-то, что Иржик решил считать засохшим дерьмом и еще какими-то костями. Кости кололись. Воняло и было нечем дышать – жестяная крыша раскалилась, как сковородка. Иржик поскулил еще немного, побаюкал больную руку и потянулся опять к щели. Во дворе по-прежнему не было никого, только разоренный пустой Wrangler с покосившимся простреленным баком душа наверху и мертвая пальма. Иржику очень хотелось пить.

Карл Джейсон девятый

Известная в узких кругах фонолог В. очень поздно и совершенно случайно узнает о смерти родной тетки. С теткой они никогда не были близки, услышав в чужой беседе о смерти некой Н., В. не обращает сначала внимания и только через неделю вспоминает, что Н. – двоюродная сестра отца и, кажется, ее единственный старший родственник. В. звонит на кафедру, где всю жизнь проработала Н., ее долго не могут понять, разочарованная, В. вешает трубку; однако уже через несколько минут ей перезванивает некто Ч. – адвокат, душеприказчик Н; еще через несколько минут В. читает с экрана смартфона завещание Н.: В. достается дом в Речной Стране – небольшой деревушке, три часа по шоссе на запад и в горы; из завещания она понимает, что провела в этом доме как минимум одно лето; тем не менее, В. не сохранила об этом никаких воспоминаний. В выходные В. берет в агентстве машину – породистый крошечный джип с широкими колесами; в Речной Стране очень быстро находит нужный адрес. Дом Н. арендует большая семья, их контракт истекает через четыре года; обеспокоенные, они пытаются убедиться, что В. не собирается продавать дом или нарушать их уклад иным образом. В. успокаивает их как может; насупив мохнатые брови, глава семьи проводит ее длинным коридором к двери в запертую комнату, которую Н. оставила за собой; у В. нет ключа, но вызванный из деревни слесарь легко отпирает замок. Комната почти пуста –

точный, двадцатилетней давности, слепок привычек и вещей Н.: рабочий стол, узкая кушетка, CD-плеер и лампа на столе; одна стена сильно отсырела. На грубой полке – модный тогда роман, несколько справочников по садоводству и модель корабля в бутылке. В., действуя решительно, но наугад, что совершенно ей не свойственно, укладывает в дорожную сумку шерстяной плед с кушетки (он пахнет плесенью и липнет к рукам), бутылку с полки, осторожно закрывает дверь, просит слесаря запереть замок; жильцы длинно смотрят ей в след, когда В. разворачивает джип на слишком узкой гравийной дорожке. В. гонит домой без остановки, иногда с тревогой поглядывая на уровень топлива; когда она паркуется у общежития, желтая лампочка горит уже очень давно. Бросив машину незапертой, В. поднимается к себе; плед в сумке окончательно расползся, В. выпутывает бутылку из вонючих нитей, сумку с пледом комом бросает в мусор.

Корабль в бутылке совершенно удивителен: остаток вечера и большую часть ночи В. проводит с увеличительным стеклом и смартфоном; к утру она достаточно много знает о кораблях в бутылках вообще, но ужасно мало – о том, который держит в руках; в мощную лупу В. не видит никаких следов шарниров в основании двух крошечных мачт; внимательно просмотрев несколько обучающих фильмов The Ships In Bottles Association Of America (SIBAA), она убеждается, что корпус, очевидно не было собран из готовых элементов: ее корабль – «Карл Джейсон 9» – крошечные медные буквы на корме, аккуратные надписи на странно длинных шлюпках и спасательных кругах – именно то, чем корабль в бутылке должен быть – крошечное чудо, морское судно, волшебно уменьшенное и помещенное в тонкостенную бутыль. Утром, выпив, как лекарство, две чашки очень крепкого кофе, В. едет в университет; академические связи всегда работают для нее как часы: уже к вечеру, объездив на своем велосипеде весь кампус и побывав с нескольких корпусах, о существовании которых она только смутно подозревала, В. знает, что «Карл Джейсон девятый» – китобойное судно норвежской постройки, спущено на воду 1881 году; International Maritime Economic History Association с восторгом обрушивает на нее огромный пласт информации: от аккуратно просканированного борт-журнала до полной финансовой отчетности компании-владельца. Один из коллег, с которым встречается в тот день В., историк – приглашенный профессор из Эквадора, представлен В. как коллекционер, однако нового не рассказывает; он долго смотрит на Джейсона в бутылке, мешком свесившись со своего скутера для полных людей: из уголка рта медленно тянется вниз ниточка слюны; это так пугает В., что она оставляет бутылку в сейфе для образцов своего коллеги Р., археолога и близкого ее друга. Утро следующего дня В. и Р. проводят в

лаборатории, тщательно изучая модель: самое поразительное в ней – то, что захватывает любого зрителя, – фантастическая плотность деталей. Палуба исчеркана следами, трещинами, покрыта грязными пятнами. Весь такелаж выглядит старым, много раз чиненным, ниже ватерлинии – грубо залатанные пробоины, большие и малые, один из крошечных гиков забран в шину, как сломанная кость, паруса – в косых заплатах. Р. и В. не сговариваясь, говорят друг другу о том, что каждая черточка, каждая деталь должна, очевидно, ложиться в единый замысел, как в музыку. Крошечный корабль затягивает в себя: и В. и Р. каждый раз с трудом отрываются от бутылки. Профессиональные ученые, они быстро открывают, что каждый штрих на корабле – прямое отражение реальных событий. Треснувший гик – след шторма у острова Фойна в навигацию 1889: ремонт аккуратно зафиксирован в бортовом журнале. Наружный парусиновый пластырь с левого борта – стоил через год жизни двум матросам – и Р. находит в финансовых документах аккуратную подшивку пенсионных расписок их вдов – печатные буквы на желтой бумаге. Гик настоящего судна был заменено, как и доски обшивки – но модель хранит каждый след. С этого момента установить автора работы несложно: этот прием – перенос реальных деталей на модель – использовал всего один мастер, некто Д. – немец, школьный учитель и отец двоих детей. Куцая статья в «Википедии» утверждает, что известны всего две его работы (и множество подделок), его метод не открыт даже приблизительно; «Карл Джейсон девятый» не упомянут; совершенно захваченная гением немецкого учителя, В. берет отпуск за свой счет, чтобы встретить Д. и показать ему бутылку; Р. отказывается от приглашения: он уже потерял достаточно времени с В. и должен вернуться к проблеме, которая занимает его все последние годы – ожидали ли мастера прошлого, что их работы, большие и малые, займут место в музеях, станут предметом изучения и кропотливого анализа? Что чувствовал художник, ощущал ли необъятную толпу будущих зрителей за своим плечом? Думал ли гончар, что его отпечаток будет пристально изучаться спустя столетия? Специально ли для этого прижал безымянный палец к влажной еще глине? Благодарная В. предлагает Р. задать этот вопрос Д., но Р. поднимает ее на смех – как многих археологов, современники не трогают его совершенно.

Найти дом Д. оказывается очень просто; наводя справки В. узнает, о чем молчит статья в «Википедии»: Д. пропал несколько лет назад – в альпийском походе выходного дня его смыл селевой поток, только через год весенние дожди вымыли из селевого выноса его растерзанный рюкзак, тело обнаружить не удалось. Борясь с собой, В. решает показать «Карла Джейсона девятого» вдове Д.; та принимает В. вполне любезно, но модель не узнает. Провожая В. до двери,

она вручает ей нарочно приготовленный пакет – безо всяких объяснений, как что-то само собой разумеющееся. Вернувшись в крошечную комнату отеля, В. чувствует странную брезгливость, она долго стоит под горячим душем; завернувшись в полотенце, открывает конверт, чтобы найти дневники Д.: разрозненные тетради разных лет, от студенчества до, очевидно, последних дней. Неряшливые, с грубо вклеенными там и здесь полароидными снимками, дневники никак не согласуются для В. с ее образом Д., с фанатичной его любовью к деталям, с волшебным умением, так и не разгаданным никем и никогда. Сидя на огромной кровати, занимающей почти весь номер, В. просматривает тетради одну за другой; Д. пишет исключительно о бытовых мелочах, на снимках – ничего не значащие горные пейзажи, смазанные лица учеников и детей Д. Закрыв последний дневник, В. аккуратно кладет бутылку на разрозненную стопку. Тетради рисуют странный, бессмысленной образ, и В. не оставляет чувство, что они скрывают еще один смысловой слой: настоящий Д., гениальный мастер и волшебник что-то прячет за глупыми снимками, за подробными рассказами о благоустройстве заднего двора; смартфон В. пищит где-то в складках одеяла. Ей пишет Р., который сожалеет, что не поехал с В.; теперь он променял бы все на возможность встретить Д. и задать ему свой вопрос: для кого Д. так кропотливо выверял крошечные детали, так достоверно творил свое чудо – для себя? для неизвестного археолога будущего? для них – для Р. и В.? С некоторым удивлением Р. упоминает о том, что В. приглашена в полицию: очевидно, она последняя, кто видел некоего Е. – приглашенного профессора из Эквадора – живым. Е. найден задушенным в квартире, которую снял для него в городе университет, ходят жуткие слухи, что перед смертью его пытали. Вторая половина письма Р. посвящена его самостоятельному исследованию – он забросил все дела и занимался эти дни историей «Карла Джейсона девятого». Р. классифицировал все основные события из бортового журнала, которые Д. мог отразить на модели и ожидает возвращения В. для совместной работы над списком. Кроме того, Р. обнаружил еще один интересный источник – архивы полицейского управления. «Карл Джейсон девятый» упомянут в нескольких делах, в частности – на длительной стоянке для замены части рангоута, один из рабочих таинственным образом сорвался с фор-стеньги, его страховочный пояс был надрезан, виновных не нашли. Отложив смартфон, В. берет в руки лупу и быстро находит на палубе бурое пятно, как раз там, куда упало бы тело, сорвавшееся с фок-мачты. В. уверена, что еще утром пятна не было, досадует, что ни она, ни Р. не догадались сделать детальные фотографии модели при первичном осмотре. Закусив губу, Р. тщательно отсматривает палубу в поисках других изменений; под аккуратной бухтой каната на корме она замечает клочок мятой, изорванной ткани, как если бы кто-то спрятал там грязный альпийский рюкзак, попорченный камнями и талой водой.

Сценка у фонтана

Небольшая компания старых друзей заняла столик у фонтана. Весна, длинные тени тянутся через улицу к небольшому зеленому скверу, вода разбрасывает веселые зайчики по стене старого медресе, в котором, как заявляет двуязычный плакат на заборе аккуратной стройки, будет частный дом престарелых.

* * *

Все новости были уже рассказаны: Стив и Тина купили заброшенный B&B на сицилийском маленьком острове, мне собрали почти все кости, но я еще пищу в каждом аэропорту, Мишина и (как-там-его-жену) дочь Машка открыла на паях с двумя бойфрендами театральную студию. Нам принесли кофе. Я следил за солнечными зайчиками и глотал слюну, ожидая божественный момент, чтобы сделать глоток[1 - Божественный момент, чтобы сделать первый глоток кофе – это то мгновение, когда напиток еще не потерял аромат, рот полон слюны, а терпеть уже нет больше сил. Этот момент длится ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы донести чашку ристретто до рта, так что начинать движение нужно немного заранее.], и кто-то из нас сказал: «что-то-что-я-не-расслышал Кристина что-то-что-я-не-расслышал». И все засмеялись. И мне расхотелось пить кофе.

Кто засмеялся первый, было непонятно, так что под раздачу попал Лешка. Балбес ты, – сказал я ему. – Только ржешь, как лошадь. Лешка, конечно, и не подумал обижаться, но ответил мне, что я сам лось. Все замолчали. Было ясно, что мне нужно выговориться, и этого не уже избежать.

В нас всех вместе взятых было меньше, чем у Кристины в мизинце на ноге. Не таланта, нет, не способностей – чего-то иного. Магии, умения видеть чудо, умение дарить это видение, делиться, когда оно рождается в душе. Первый курс, все были гении, и она – ярче всех. Кристина запросто дружила со старшими курсами: с мэтрами, которые уже печатались, она пила дешевое вино и снисходительно целовалась на скамейке. На обороте экзаменационного билета

писала не относящиеся к делу тексты, которые работали как заклинания: две группы видели, как дружно ненавидимый преподаватель старославянского поставил ей зачет, просто прочитав абзац про запах дыма в осеннем парке. Поставил и, как говорит легенда, спрятал испорченный билет во внутренний карман серого пиджака.

Потом она пропала и появилась зимой, уже с Близнецами Старшими. Откуда они, мы так и не узнали. То есть ясно – откуда, но кто был их отцом – нет, никогда. Кристина все так же творила чудеса, как дышала, и заняла две комнаты в общаге, просто улыбнувшись коменданту. А потом ее внезапно не восстановили. Это казалось шуткой, и все смеялись, потому что Кристине удавалось все и всегда – все, чего бы она ни захотела. Однако как-то быстро и всерьез ее и Близнецов Старших выселили из общежития, она долго кочевала от одних друзей к другим и потом уехала обратно к маме – в эту немыслимую дыру вроде Йошкар-Олы или Ашхабада.

Все молчали, и никто не хотел смотреть мне в глаза. Вот вы ржете, – продолжил я, – а я знаю, что было дальше.

Она вернулась в родной город, как астронавт, как Колумб, открывший все Америки на свете. Близнецы Старшие, да, но с ними сидела бабушка, а у Кристины были проекты. Она открывала на паях с узбекской мафией студию, специализирующуюся на дизайне мифов, вела программу с миллионным бюджетом для ЮНИСЕФ, словом – в маленьком болоте ее родного города она была самой большой лягушкой. Правда очень недолго, год, может быть – два. Ну, или три. Ни один из проектов никогда не взлетел по-настоящему. В этой жизни (это предложение я произнес с нажимом, потому что оно было спорным) мало таланта, мало харизмы. Нужно что-то уметь, а Кристина не умела почти ничего – как-то не успела научиться. Режиссеры с пеной у рта объясняли, что «это не сценарий, это что угодно, но не сценарий. Офигенный текст, правда, охренеть просто можно, какой текст, но нужен-то сценарий!» Вежливые сотрудники ЮНИСЕФ несколько раз пытались загнать Кристину на курсы по управлению проектами и потом выгнали с треском.

Было много, очень много стартов, понимаете. С Кристиной оставалось самое главное – умение верить в невероятные вещи, дарить эту веру, вести людей за собой в прекрасные воображаемые миры. Именно поэтому ее так легко – без собеседований и резюме, брали куда угодно: за пять минут Кристина могла убедить и себя и собеседников в том, что она и есть – самый лучший в мире специалист по продвижению женских брендов одежды. Или по написанию рекламных концепций. Или по управлению лагерями для детей-беженцев (вот этот последний проект окончился на самом деле печально). Тем не менее, Кристина уверенно катилась вниз. Работу ей предлагали все реже и реже. Мама отказалась сидеть с Близнецами Старшими: в доме не было денег, не было вовсе – даже на еду, и мама работала. Кристина занимала у друзей, искренне веря, что именно занимает, а не просто просит – и друзья все меньше и меньше давали ей эти деньги: они-то видели, что она обманывает и их и себя.

Близнецы росли и, конечно, не могли пойти в обычную школу: они должны были учиться только по волшебной методике, которую волшебный западный гуру продвигал в Европе и немножко в Америках. Кристининой магии хватило даже на то, чтобы гуру со свитой приехал в их немыслимую дыру – открывать эту школу. Школа под руководством Кристины продержалась ровно один семестр. Друзья уже давно отводили взгляды. Работу никто не предлагал. Мама выставила Кристину за дверь (однако готова была принять Близнецов Старших без мамы). Кристина снимала квартиру за квартирой: каждый новый домохозяин мгновенно верил в то, во что верила она сама: да, денег на аванс нет, но они будут – буквально завтра. Кристина улыбалась, Близнецы Старшие носились вокруг, осваивая новую территорию, хозяева улыбались в ответ – и выгоняли всю команду на улицу, так никогда и не дождавшись волшебного завтра. Должно быть, Кристине было страшно: она оставалась все больше и больше одна. Друзья, которых у нее было ужасно много, понимали одну простую вещь: да, проекты, да, художник, пусть живет как хочет, но Близнецы Старшие? Близнецы Старшие ели что придется, у Близнецов Старших болели зубы, у них были глисты и не было школы или денег на дантиста.

Потом, безжалостно продолжил я, к ним присоединилась Младшая. Стало еще тише, только журчал фонтан: про Младшую никто, кроме меня, не знал. Друзья смотрели на меня почти жалобно, но останавливаться я не собирался.

Младшая появилась так же, как Старшие – ниоткуда. Просто у Кристины вдруг вырос живот. Конечно, Младшая не могла родиться в обычном роддоме – это были очень специальные роды, я, право, не разбираюсь. Что-нибудь чудесное. В воде или вот в левитации. Однако у Младшей не оказалось в итоге никаких документов, даже свидетельства, так что уехать они уже никуда не могли, даже если бы было – куда. Кристина перебивалась как-то. Переезжала из дома в дом, с дачи на дачу, все дальше уходя в воображаемый свой мир. Люди все меньше и меньше верили ей, все реже и реже видели то, что видела она – потому что Кристине нужно было все ее воображение, все силы, чтобы поддерживать собственный миф, и для других почти ничего уже не оставалось.

Я был у нее дома – однажды. Прилетел специально, прикрывшись каким-то смешным поводом: я работал как раз для ЮНИСЕФ. Мог бы и не ехать в этот самый Ташкент, а поехал: боялся увидеть Кристину, а должен был.

Она жила в тихом старом доме. Брошенный, он стоял на участке, которым владела та самая узбекская мафия. Мафия крутила кому-то руки (и в прямом и в переносном смысле), чтобы через эту часть старого города прошло шоссе: они уже скупили всю землю. Это был прекрасный дом для большой узбекской семьи – в глубине тенистого персикового сада. В девяностые семья уехала в Россию, в какую-то смешную деревню под Владивосток, и персики вырубили на дрова соседи: в городе той зимой не было света. Старый саманный дом в середине выжженного солнцем пустыря: текущая крыша, он был уже наполовину нежилым. Внутри сыро, окна заросли паутиной. Какие-то одеяла на полу, бесконечные плюшевые медведи, одежда. Остро пахло немытыми детьми. Самой живой была кухня: из продуктов я увидел только овсянку – не красивые пачки из супермаркета, а огромный, наполовину пустой пластиковый пакет, купленный на базаре.

Все молчали, я переждал спазм в горле и продолжил.

Она была одета в чистое. Она улыбалась, знаете, точно так же. Только все зубы были уже больные, в темных кариозных пятнах, и пахло изо рта. Она рассказывала мне свои новости. Про замечательный дизайнерский проект экодеревни в Эквадоре и про то, как их туда позвали, но вот беда – у Младшей

нет паспорта, но, конечно, паспорт будет завтра, она уже договорилась, просто замечательный будет паспорт. Еще про новую методику естественного обучения в одном английском колледже, и Близнецы Старшие обязательно туда поедут, она уже почти договорилась, только нужно деньги перевести: у них есть группа школьного возраста. А английский они выучат: есть такая программа, такие кубики специальные. Она все еще горела, светилась изнутри, но весь талант, все ее силы уходили на то, чтобы видеть тот мир, в котором Близнецы Старшие завтра уезжают в Англию, а она с Младшей летит в Эквадор. Мир, в котором она принимает старого друга в большом уютном доме, к которому ведет, петляя сквозь персиковый сад, дорожка, а вдоль дорожки журчит арык: чтобы гостям было нежарко идти до увитой виноградом веранды. На какое-то мгновение ей удалось открыть этот мир и для меня. Я увидел все это: здоровых детей, учащих английский по волшебным кубикам, паспорта с вычурными голограммами Эквадорских виз на столе. И это был прекрасный, самый счастливый мир из всех, что я видел – подарок Кристины старому другу.

От них я поехал прямо в офис ЮНИСЕФ. Эксперту моего ранга даже не нужно детально формулировать желания: мой местный ассистент, удивительно красивая девушка Зарема, устроила все без меня: ЮНИСЕФ, огромная неуклюжая машина для защиты детей всего мира иногда бывает эффективной. Уже на следующий день у Кристины забрали детей. Саму ее отвезли в сумасшедший дом, но, конечно, там она не осталась.

Журчала вода. На меня никто не смотрел, кроме Лешки. Было видно, что ему очень хочется меня ударить; мне немедленно захотелось вмазать ему в ответ.

– Ты понимаешь, что это просто преступление?! (Это я уже орал на Лешку лично.) Растратить свой талант, столько сил, столько способностей – на саму себя? На то, чтобы год за годом строить стену, питать этот фантомный мир? И потом – а дети? Близнецы Старшие и Младшая? Детдом в Душанбе – это как, по-вашему? Даже если моя милая Зарема из ЮНИСЕФ обещала заезжать как минимум раз в месяц? Им было по тринадцать лет – Близнецам Старшим, они ни разу не были в школе?! Ни разу не были у настоящего детского врача?

Слова кончились – пора было бить Лешке морду, потому что он ничего не понимал и продолжал смотреть на меня с нескрываемой ненавистью. Всегда тихий, обожающий меня с первого курса, безотказный друг Лешка. Но меня скрутило от злости, парализовало буквально, я никак не мог встать, чтобы дать ему в морду, а в морду дать нужно было непременно.

* * *

Человек сидит в ультрасовременной коляске, из тех, где есть баллон с кислородом, управление мимическими мышцами, GPS и прочее. Ему не так много лет, просто выглядит стариком, как многие тяжелые инвалиды. В теле человека так много имплантов, датчиков и трубок, что даже вынуть его из кресла – задача для бригады врачей. Человек не то, чтобы приехал издалека – умная коляска просто пересекла улицу, прочерченную тенями низкого осеннего солнца, от дорогого дома престарелых до сухого фонтана, дно которого покрыто листвой: ветер принес ее из близкого сквера. Из уголка рта колясочника тянется вечная нитка слюны (которую коляска ловко и почти бесшумно ловит и втягивает прозрачной трубочкой), он смотрит на листья в сухом бассейне, но видит только давний спор с друзьями. Они и правда иногда прилетают в этот пыльный азиатский город – проведать человека; он их не замечает. Его сломанный разум остался навсегда в одном-единственном мгновении весеннего утра – все эти годы он встает, чтобы ударить друга в лицо.

Через улицу от человека, там, откуда тянутся тени, немолодая, нелепо одетая, очень полная бездомная женщина бредет по дорожке сквера. Она движется странно и, кажется, беспорядочно. Следит за кем-то расфокусированным взглядом. Но если представить рядом три фигурки детей, все время пытающихся разбежаться, все встает на свои места.

Ты не умеешь правильно отчаиваться, я покажу тебе как

Маркус стоял у окна уткнувшись лбом в стекло, глядя на праздничную суету внизу, когда понял, что хочет убить свою жену. От отчаяния, от усталости, от ее молчания, глупого беспомощного молчания, как будто на самом деле ничего больше сделать нельзя. Криво улыбаясь (у него вдруг онемела щека), он вышел в крошечный коридор и оделся. На зеркале висел список покупок: в номере – крошечная кухня, но до такой степени экономить смысла, конечно, нет. Дура. Сунул бумажку в карман. Могли бы пойти куда-то. Дура. Уже закипая, Маркус хлопнул дверью. Он был уверен, что жена не заметила его ухода – одетая, одна в огромной кровати, под пуховым легким одеялом – опухшим заплаканным лицом к блестящей стене.

Холл был пустой, пластмассовый и гулкий, с вечной синтетической елкой посередине – такой же, как в Токио, Сингапуре или Москве: от старого здания остался только фасад: снаружи пять этажей, внутри семь. Маркус вдруг вспомнил, как, пока ждали в комиссии, какой-то чиновник, пытаясь отвлечь их, рассказывал, что статистически новая волна строительства разрушила больше зданий, чем все бомбежки Великой войны. Умная дверь почуяла карточку в кармане – чавкнула, выпуская постояльца на Гроте-Маркт.

Рынок кипел, Маркус сделал два шага, и толпа понесла его. Кто-то больно ударил в бок, обернувшись, он, холодея, уперся в пустое зеленое лицо утопленника, из уголка глаза – верткий живой червь, из уголка рта – полоска замерзающей воды. Ряженый захохотал под жуткой своей маской: толпа уже несла его, прятала. Маркус скомкал в кармане ставший вдруг мокрым бесполезный список. Что она там написала? Хлеб, моцареллу и свежие томаты. Пасту от кровящих десен. Что-то еще. С трудом, против хода толпы, добрался до ближайшей лавки, толкнул кого-то мелкого, пробился: по дисплею-витрине плыли яркие картинки – проросшая соя, какие-то буйные листья, курица мелкими кусочками медленно падает в золотой бульон. Вьетнамский суп на вынос. Или тайский. С соседней, настоящей, без дисплея, витрины на него бесстыдно пялились яркие искусственные пенисы в крошечных Santa hats: Брюссель отчаянно хотел быть веселым городом – ну хотя бы раз в году. Маркус рванулся из очереди за супом, в которой он, оказывается, стоял; шагнул в проход к большому лотку, но там продавали почему-то пуговицы и отвертки. Еще дальше крошечную палатку венчал огромный поплавок: может быть – рыба, а может, какие-то сомнительные услуги. Сегодня по списку не купишь: буйный день и ночь без правил.

Маркус пытался бороться: толкаясь и извиняясь на двух языках, шел против течения, так было легче – высматривал хлеб и моцареллу. Отчаяние закипало в глазах, было холодно, и слезы получались очень едкие. Сердце колотилось, а когда он понял, кого машинально ищет глазами в толпе, дыхание кончилось. Согнулся, машинально уперся рукой в холодное и скользкое, шатко подавшееся под рукой – стенка уродливого шатра. Пирамида полупрозрачного пластика в полтора человеческих роста, с внутренней стороны приклеены внахлест листы офисной бумаги: мозаика собирается в текстуру – огромную, в квадратиках низкого разрешения, фотографию. Пирамида Хеопса, Брюссель, Рождество, двадцать первый век. Пластиковые щиты со строительного рынка, офисный принтер, картинка из «Википедии». Гадость. Маркус понял, что все еще опирается на ненадежную стенку фальшивой пирамиды, разогнулся. Голова закружилась, и мокрый асфальт вдруг прыгнул на него слева – стеной.

Маркус сидел на или, точнее, в огромном bean bag, давился зеленым чаем и не мог понять – чего он хочет больше: не попасть обратно на рынок – буйный, глупый и бессмысленный, как попытка офисного клерка напиться, влюбиться и уехать в путешествие – все в один выходной. Не попасть туда – или чтобы заткнулся этот вот, на стуле. Хозяин палатки (для простоты Маркус решил – пусть будет хозяин) сидел на круглом барном табурете. Очень худой и высокий (или очень высокая и слегка худая), в дурацком кремовом костюме. При бабочке. Красной бабочке. С тростью. В федоре. Не умолкая, он болтал на скверном английском: о Брюсселе, о Египте, о гадании по картам Таро и о том, что он наследный принц Ганы.

– Республика, – неожиданно вырвалось у Маркуса.

Паяц мгновенно уронил руки, застыл, его брови медленно-медленно ползли вверх, прятались в дурацкой шляпе.

– Термин «наследный принц» означает «наследник престола», то есть – человек, который станет королем. Гана – республика и как государство появилась только после объявления независимости от Великобритании. «Принц Ганы» или «король

Ганы» – бессмысленные термины, как если бы в советский период «принцем СССР» назвали бы наследника престола Романовых, или «принцем США» – сына вождя племени черноногих.

У Маркуса пересохло вдруг во рту, он замолчал. Паяц блеснул зубами на черном лице, оскалился и отомстил: выстрелил куда-то в угол неправдоподобно длинной рукой, добыл там керамический звонкий чайник, долил Маркусу; еще сильнее запахло жасмином.

– Right, right, – по лицу типа в шляпе ползла медленная улыбка, правой рукой он подбросил трость вверх, в темноту, медленно вытянул левую; трость упала обратно, осталась стоять, как будто воткнувшись в светлую ладонь; тыльная сторона была очень, очень темной. За полупрозрачными стенами вспыхивали огни – Маркус не различал цветов – гудела толпа, кто-то громко проговорил совсем рядом пьяным женским голосом: «Ну идем же, ну идем же, ну, догоняй!»

– У меня племянник в заложниках. Уже давно. Год и восемь дней. Мы с женой два месяца здесь, в Брюсселе. Официально они не ведут переговоров с террористами, но есть специальные группы, знаете? Есть процедура, но он не работал на Еврокомиссию, это плохо.

Паяц собрался, подтянул на табурет длинные ноги, забросил правую руку через плечо, как вещь – неподвижная трость стоит на ладони левой.

– Он мальчик еще совсем. Сирота, сын брата жены. Волонтер. Учил детей естественной истории.

Маркус вытер глаза.

– Комиссия, потом еще комиссия, потом еще бумаги. Деньги. Фонды. И интервью. И очередь – вы можете себе представить, что может быть очередь, чтобы вытащить человека из ямы в земле, вернуть из ада? И потом – год это много. Они думают, что его может не быть уже в живых. Из его группы никого не удалось вернуть. Было это жуткое видео, с отрезанной головой, но кто это – так и не смогли опознать. Я думаю – это он. И жена так думает. И все. И вслух никто этого не говорит про нашего мальчика.

Паяц страшно оскалился, рассыпался вдруг мелким, дробным смехом. Мокрый, в ужасе от того, что он вдруг рассказал все какому-то психу, Маркус отчаянно карабкался из кресла: раньше удивительно удобное, оно вдруг превратилось в ловушку – плыло под руками, не на что было опереться.

– Можно без очереди и без денег, – паяц сидел уже в профиль, разглядывал ногти, пах жасмином.

– …Вы зря так страшно отчаялись, так отчаиваться нельзя. Вернуть не получится, но можно обменять. Вы в ад, а мальчик, – паяц глупо хихикнул, потянул гласную, – а ма-а-альчик – домой. Уходите.

Маркус забарахтался изо всех сил, он намертво застрял в мешке, сердце опять заходилось в горле, билось в ушах.

– Чашку, – мягко сказал паяц, по-прежнему не глядя на него, – поставьте чашку на пол, упритесь руками и вставайте. Вам пора, уходите.

Унизительно, на карачках, Маркус выбрался из кресла, с трудом разогнувшись, искал взглядом, какая из стен открывается наружу. Над площадью бахнул первый фейерверк, просветил насквозь пластик, бумагу с напечатанной текстурой египетских камней. Полночь. Потом вспыхнуло еще – так сильно, что он ослеп, сделал шаг вперед, наугад, ткнулся лбом в стекло. На улице, в небе над соседними домами медленно гасли яркие цветы – в честь великого октября

третья отдельная краснознаменная зенитная часть стреляла осветительными ракетами. Внизу, во дворе общаги, пьяная толпа пыталась что-то петь хором; у мусорных баков знакомые слесари из утренней смены так же хором били каких-то пьяных: один вырывался, тряс руками, второй висел безвольным мешком, его швырнули к стене и стали топтать ногами.

Кто-то медленно прошел по коридору за его спиной, пахнуло кислым – дед Коля, понял Марик. Невидимый Дед Коля остановился, шумно, как лошадь, выдохнул – от кислого запаха защипало в глазах. В окне отразилась торжественная деда Колина левая рука: он тащил из столовой праздничный бутерброд с килькой.

– Знаешь, и в ту войну было так, скрипучим голосом сказал дед. Грязь. Воши по тебе ползают. Лежишь на спине, мордой в небо. Натовские сука дроны там где-то. Все видят в темноте, а сами – невидимки. И наши ракеты эти в небе – чтобы хоть как-то их, гадов, подсветить. И думаешь: сука, красиво как, а мне щас помирать. А не помер. Кишок половину вырезали, совсем пустой внутри – не поверишь: как пердну, так эхо. А не помер.

– Не, не знаю, – ответил Марик. Я и на войне не был, и ракеты эти вижу по-другому. Я дальтоник, ты же в курсе.

Дед Коля неодобрительно пожевал губами у Марика за спиной, посипел что-то про себя, постоял еще и пошаркал, понес бутерброд дальше.

– Не помер, – повторил Марик, вглядываясь в окно соседнего, женского общежития – ему показалось, что какая-то высокая, странно темная женщина в шляпе быстро идет по коридору, точно такому же типовому коридору с той стороны.

– Не помер, – шептал Марик часом позже, уже лежа на своих нарах – лицом в стену, под грязно-коричневым покрывалом. Он засыпал, небеленая штукатурка

плыла уже куда-то перед глазами, и простые дед Колины два слова казались ему ужасно важными, важнее всего.

Не помер.

Возвращение сумасшедшего профессора

Некая дама одержима навязчивой идеей. Сама она, конечно, не знает об этом: ее критическое восприятие надежно изолировано глубокой потребностью, даже нуждой. Дама по имени, например, Саша работает тестировщиком в Microsoft. Саша тестирует новую линейку Microsoft Office для web; она приехала в Штаты с мужем восемь лет назад. Мужа, собственно, и берут в Microsoft: сначала в русский, потом в настоящий, здесь, в Microsoft Research в Редмонде. Саша летит в Америку ужасно важной: как же, муж без пять минут Билл Гейтс, даже не может приехать в аэропорт, так много у него срочной работы. Черный страшный таксист (Саша повторяет себе в машине «не назвать его негром, не назвать его негром») везет Сашу в огромный пустой дом, пустой буквально – без мебели и занавесок, одна обжитая комната наверху. Там – диван и огромная стена из мониторов, как в фантастическом фильме – рабочее место Сашиного мужа. По первому этажу ползет пластиковая черепаха – электронный пылесос. Увидев Сашу, голосом мужа пылесос сообщает, что любит Сашу безумно, она его зайка и через два квартала есть кафе, а в холодильнике, к сожалению, пусто.

В тот первый американский день по Сашиному времени – ночь, глухая питерская ночь, и мосты разведены. Холодильник и плита на кухне затянуты в заводскую пленку: их ни разу не открывали. Кафе – очень американское: красные диванчики лицом к лицу, крупные официантки с кофейниками, как в фильме Тарантино. За угловым столиком Саша видит писаного красавца с волосами цвета воронова крыла. Он сидит к Саше спиной и, кажется, ест яблочный пирог. Саша уверена, что увидела красавца именно тогда, в первый день в Америке, но это ложная память, он появился только через несколько лет. К тому времени Саша разводится с мужем, который совершенно пропал на работе, что есть он, что нет. До развода ее успевают тоже взять на работу в Microsoft: жен программистов легко берут тестировать софт – корпоративная традиция. Саша снимает полдома недалеко от работы, записывается на курсы creative thinking и

расписывает свою кухню цветами. Цветы пошлы и чудовищны, но Саша об этом не знает; она постит их в фейсбук.

Каждый день то в одном, то в другом месте она видит красавца с черными волосами. В любом кафе (как многие в Редмонде, Саша ест только в кафе) есть кто-то с черными волосами, особенно в Редмонде; Сашино подсознание услужливо ретуширует черты, да и по большей части красавец сидит к Саше спиной или полубоком. Ничем страшным это невинное помешательство Саше не грозит, других видимых симптомов у нее нет. Красавец даже не мешает Саше периодически заводить недолгие романы, по русской традиции – исключительно на работе. Однако болезнь Сашина прогрессирует и через несколько лет легко рисует красавца уже без прототипа, out of thin air, как сказал бы Сашин муж. Красавец сужает вокруг Саши круги, ей кажется, что он даже не спит, бедный: все выходные дежурит на лавочке в сквере напротив дома, по будням – сидит в машине (каждый день – в другой) на корпоративной парковке: весь день, пока Саша в офисе, его видно из окна. Саша, очевидно, составляет весь смысл существования красавца, этим он выгодно отличается от Сашиного бывшего мужа, который совсем-совсем пропал на работе и вряд ли до сих пор удосужился сорвать пленку с холодильника. Саша хорошо это себе представляет: пленку, огромный пустой дом, жилую комнату наверху. Пусто и очень чисто – спасибо роботу-пылесосу.

Осенним днем Саша понимает, что удерживает красавца на расстоянии: он просто очень честный, пока у Саши есть муж, пусть и бывший, красавец ближе не подойдет. Это совсем Саше не удивительно, удивительно – как она не поняла такой простой вещи раньше. В Калифорнии – самые жесткие в США законы по поводу оружия, Саше приходится ходить на курсы, получать разрешение, потом ждать десять дней одобрения заявки, потом еще десять дней – все по закону, но без проблем – Саша нигде не состоит на учете. Она не волнуется – красавец ждал так долго, все понимает и чувствует – первый раз за все годы он машет Саше рукой из чужой машины на парковке.

Турагентство предлагает Саше горящий тур на Карибы, и Саша едет – все равно ждать. В отеле красавец близко, как никогда – другим постояльцам кажется, что Саша флиртует совершенно со всеми, но это неправда – это красавец все ближе,

иногда сразу в двух, трех или даже четырех местах мелькают черные волосы. Саша прилетает домой, из аэропорта едет в магазин и получает пистолет – это тяжелая американская модель, разработанная Magnum Research, Inc по заказу Израиля для войны: Саше совершенно не нужно, чтобы кто-то мучился, ей нужно, чтобы все было просто и быстро, легко и надежно. Прямо из магазина Саша едет к мужу – лишь бы он не остался на ночь в офисе. Идет по длинной дорожке, мимо автоматически загорающихся садовых фонарей, спотыкаясь о какие-то мячи и машинки, останавливается у москитной двери, которая открывается прямо в кухню. Там что-то происходит, на кухне, что именно, Сашина больная голова не в силах сразу понять. Что-то яркое, шумное, странное.

Ее муж совершенно лысый – это первое, что Саша наконец выделяет. Он смеется, но Саше плохо его видно – муж сидит на корточках рядом с чем-то, что Саше кажется полусобранным роботом. Это на самом деле полусобранный робот – ростовая модель для обучения детей программированию. Вокруг робота дети, много: два, три или даже четыре ребенка – дети Сашиного мужа, они тоже смеются. Его жена стоит к Саше спиной у кухонного стола. У жены ее мужа совершенно прекрасные волосы цвета воронова крыла, такие же, как у детей. Саша сжимает рукоятку очень тяжелого пистолета и смотрит на них через сетку: на мужа и на красавца, предательски оказавшегося мужниной женой и успевшего нарожать черноволосых детей. Саше кажется, что она совсем-совсем одна.

Моя женатая женщина

То, что навсегда привязало меня к ней, – округленный рот, напряженные губы в самый первый момент. Я ждал каждый раз, чтобы случалось это волшебство – когда, лицом к лицу с ней, в полном согласии с движением где-то внизу моего члена, широко открытый рот округляется, напрягаются под кожей мимические мышцы, тянутся вперед губы – как будто стараясь достать поверхность воды. Иногда я двигался медленно, иногда быстрее – только чтобы видеть, как точно, как верно она отвечает моим движениям. Это самое удивительное, что я видел в жизни. И самое прекрасное. Это как смотреть на море.

Мы знаем друг друга вечность – с детских игр на спортивной площадке. Она вышла замуж, как-то очень неожиданно и рано, на первых курсах, – это было странно. Потом мы долго не виделись, случайно встретившись ночь бродили по городу, сидели в кафе – она говорила, я слушал. Большое счастье встретить старого друга через много лет: ему можно рассказать совершенно все – до самого дна, как никому другому. Он знает тебя вечность, не видел полвечности, зато – видел тебя в детских трусах и без них тоже, потому что вам было по три года. С ним можно быть собой, как ни с кем другим. С того разговора она и стала «женатой женщиной», оговорившись: «Я на нем жената». Мы не виделись лет десять и не увиделись бы еще столько же, если бы не заварочный чайник. Ей нужно было непременно промыть нос – после прокуренных кафе, после бессонной ночи, всех слов, что она выплеснула из себя. Ничего особенного, никаких страшных тайн – у всех есть счастья и несчастья. Умыться и промыть нос из заварочного чайника – и мы пошли ко мне домой.

Она закрыла глаза сразу, как только я обнял ее на кухне. Закрыла и не открывала до самого конца – мне пришлось вести ее на кушетку, как в танце: обходя стойку и табуретки. Она дала себя раздеть, дала сделать вообще все, что мне хотелось, и был тот момент, когда ее губы потянулись вперед вместе с моим первым движением. Я не сразу понял, что это – навсегда, что я не смогу жить без этих губ, без этого жеста.

В остальном, откровенно говоря, секс с моей женатой женщиной был пресен. Не открывая глаз, она двигалась вместе со мной, но это никогда не продолжалось слишком долго. В какой-то момент она просто переставала мне отвечать, зажмуривала глаза сильнее, и я останавливался. И мы никогда не меняли позу – с того первого дня, с первого раза на кухонной кушетке. Кроме секса нас связывало взаимное раздражение. Ее все выводило из себя. Мои рубашки, моя квартира, мой парфюм. Ее муж, ее ребенок, ее машина. Люди, воздух, телефоны, свет слишком яркий и свет слишком интимный. Я ненавижу зануд, не понимал и не понимаю, как вообще можно жить, когда раздражение – это реакция по умолчанию на все, что случается в мире. Мы ни разу не орали друг на друга. Ни разу не поссорились, однако раздражение возникало еще до того, как она брала трубку. Раздраженные гудки, и раздражение звучало в ее «алло» – должно быть, я всегда звонил не вовремя. Или сигнал телефона всегда был слишком громкий. Или муж слушал, с кем она говорит. Я открывал дверь, но она медлила входить, не скрывая того, как раздражает ее мой шейный платок, как долго я шел к

двери, как ее видят мои соседи.

Потом она уехала. Они уехали, наверное, будет правильно. Мне незачем было писать или звонить. Без возможности обнять, чувствуя всем телом ее раздражение, чувствуя, что она думает только о том, что времени совсем мало, а я копаюсь, без того, чтобы видеть движение ее губ – зачем?

Она позвонила сама – я не знал, что она живет в этом городе. Не знал даже, что она живет в этой стране. Позвонила в отель, потому что я вывесил фотографию его уродливой вывески – я не знал, что она читает мой блог. Она спросила: «Не хочешь приехать?» Прошло лет пятнадцать, никак не меньше. Я не знал зачем. Но я, конечно, помнил, как она тянула губы, будто хотела сделать глоток.

Она жила в нижней квартире небольшого домика. Они жили, наверное, будет правильно. Рядом с домом – джип, на стикере – инвалидная коляска. Не знаю, что случилось с дочкой – может быть, она была у бабушки. Дверь открывалась на кухню, женатая женщина провела меня к столу. Очень плохо пахло: застоявшийся запах болезни, безвыходной беды. Мы пили чай, то есть чай стоял на столе, она говорила, я слушал. Это большое счастье – встретить старого друга, которому можно рассказать совершенно все. Она говорила, а я смотрел, как движутся ее губы, и думал о том, что у нее удивительно большой рот – как я раньше мог это не заметить. Она говорила, и говорила, и прерывалась, потому что ее раздражало, как я мешаю чай, выговаривала мне и снова говорила, и снова была эта удивительная близость между нами. Потом зазвонил детский монитор, и она ушла в открытую дверь, в глубину дома.

Я встал и сделал несколько шагов – довольно большая кухня. Окно над кушеткой, очевидно выходившее на стоянку рядом с домом, было почему-то закрашено черной краской – удивительно глубокий черный цвет. Я подумал – какая-то специальная пленка – и наклонился рассмотреть. Это была не пленка. Просто там, куда выходило окно, стояла глубокая ночь. Лунная, так, что был виден склон, убегающий вниз, огни какой-то деревушки, а за ними – отблески на воде. Море. Я смотрел из окна и пытался понять где это. Как сориентироваться, я так и не сообразил и придумал для себя, что это Атласские горы. Я услышал

раздраженный крик моей женатой женщины – раз, другой, третий, и только тогда понял, что это – мне.

Муж был совершенно голый и лысый. Из уголка рта стекала слюна, рядом с кроватью – стойка с монитором и кислород. Мужа надо было вести в туалет. Вернее – тащить в туалет. Он был тяжелый, но ничем не пах, как бумага. Тяжелый, горячий, а кожа двигалась отдельно от тела, будто его завернули как попало. Нужно было тащить его быстро – он позвал ее, потому что хотел какать. В его постели было все, что нужно, но очень важно было довести его до унитаза, раз он сам это понял – так случалось все реже и реже. И я тащил этот мешок, а она орала на меня почти в голос, потому что я все делал не так. Под ее крик я чуть не уронил мужа моей женатой женщины.

Потом он долго сидел на специальном, с бортиками и ручками унитазе, громко пукая без особого толку. Я смотрел на это и думал, что вижу его в первый раз. Муж сидел так, как я его посадил: неловко, свесив плечи на одну сторону, глядя прямо перед собой. Я нагнулся, чтобы взглянуть ему в глаза – в них была ненависть. Страшная, безвыходная ненависть, обращенная в мир. Может быть он не хотел в туалет, и мы совершенно зря мучили его? Может быть – узнал меня, и теперь, сквозь мутное стекло своей болезни, видел, как я бесцеремонно рассматриваю его сморщенный обрезанный член? А может быть – он просто устал или у него что-то болело? Может быть он хотел умереть? Я не знаю. Мне хотелось уйти. Женатая женщина стояла в дверном проеме. Оттолкнуть я не решился, потом муж наконец закончил, она стала мыть ему зад, а мне нужно было его держать, так что сбежать стало невозможно. Потом я тащил его назад. Мы уложили мужа в постель, и я сразу пошел сквозь пропахшие комнаты – к выходу. Я думал: как странно – он источник всей этой вони, а сам пахнет бумагой.

На кухне я встал у непрозрачного окна, неряшливо закрашенного черной масляной краской, и принялся ждать. Бесконечно долгое ожидание, но она вернулась, она подошла ко мне вплотную, и я обхватил ее руками. Моя женатая женщина не стала закрывать глаза, но резко, удивительно сильно толкнула меня – бедром об угол плиты – ужасно больно. Я шипел от боли, и я тер мышцу, и я смотрел на нее сквозь выступившие слезы, и в ее взгляде была та же

безвыходная ненависть и то же бешенство, что в глазах ее мужа.

Два года и три месяца я жил потом в Марокко – фотографировал, болел гепатитом, бродил по горам которые видел в окно. На горной дороге небольшой фургон, обгонявший фуру по встречной полосе, ударил мой джип прямо в лоб. Так что я никогда больше не встретил мужа моей женатой женщины, ее дочь или ее саму.

Точка на карте, пахнущая чаем

Ее знали совершенно все – водитель такси ее знал, в магазинчике на углу, где Митя попросил воду – тоже ее знали: зашедший с Митей таксист сказал что-то на хинди – ее имя в середине фразы, хозяйка скривилась, замахала сухой рукой – она была здесь должна, деньгами должна и продуктами; Митя путался в мелких американских долларах, выкладывал на прилавок – доллары к долларам, пятерки – к пятеркам.

Она должна была пареньку у магазина – за разбитое крыло мопеда, трем лендлордам – по нисходящей, от целого этажа у пляжа, до конченого клоповника возле горы и с общим туалетом. За время, пока она была здесь, деревня вывернулась, приросла к ней – пустыми обещаниями, долгами, мелкой ложью, в которую, возможно, она верила сама, а может быть – нет, Митя никогда не был уверен. Она должна была чешским мальчишкам на пляже – за уроки хождения по канату, в баре в долг не давали, но она должна была им зонтик. Митя штопал эту дыру – дешево, все дешево – там десять долларов, там полсотни – спасибо, господи, что взял деньгами.

И она опять варила этот дикий чай, и Митю било белое, незамутненное бешенство, потому что она делала то, что было совсем нельзя, и так, как это было делать вовсе нельзя, – ложь, беспорядок, невыполненные и невыполнимые обещанию. Самообман. Он приходил, стоял на пороге, говорил гадости дрожащим голосом и уезжал обратно – в город; в деревню ездил каждый день: первые три дня полицейского не было – на празднике у родственников. Потом

полицейский уже был, но Митю не принял – набивал цену. Потом они сели, полицейский держал гневное лицо, угрожал ей тюрьмой, потом не выдержал и улыбнулся, протянул руку – «Суреш». Справка обобщилась совсем недорого, настоящая справка, они проехали по всем лендлордам, везде взяли подписи, только регистрацию Суреш поставил задним числом – и все.

В Мумбаи был отель – рядом с посольством, чтобы далеко не ходить, и консул приятный, справку сделали за два дня – штраф уже в аэропорту и самолет. Митя попросил разные места, сидел впереди, чтобы выйти раньше нее и не видеть вовсе; где-то над Афганистаном – самолетик полз по карте мимо квадратика «Кабул», стюардесса принесла отвратительно пахнувший благовониями стаканчик – «вам просили передать».

Митя молча покачал головой, но встал, посмотрел назад – всего несколько рядов от него – там уже смеялись, передавали друг другу чай, кто-то лежал с закрытыми глазами и очень важным видом – наверное, после акупунктуры, салон свернулся вокруг нее, как та деревня: с кем-то подружилась, кому-то дала мантру от боязни полетов, какого-то ребенка научила уже, наверное, складывать журавликов из инструкции по эвакуации. Наверняка уже набилась ехать с кем-из аэропорта.

Через год с небольшим был Непал, но не деревня, а меленький смешной городок – перевалочная база для треков на Аннапурну, и опять была просроченная виза, и долги, всегда бесконечные долги; просроченная виза и злые потные полицейские. Потом была деревушка на Памирском тракте; серьезные бадахшанцы брали его деньги, смотрели на него и мимо него – на горы и мутный Пяндж внизу; и с визой в этот раз была реальная проблема – пограничная зона и Афганистан на той стороне. А еще везде был чай – в Бадахшане он пах местной травой и неизбежными пряностями; в Непале – только пряностями и чуть-чуть – плохой местной водой.

Потом был перерыв несколько лет – много. И – целый остров, настоящий, хотя и крошечный: с тремя дайв-станциями, отелями и пыльной площадью. Мите казалось, что островок похож на жемчужину: бесчисленные, слой за слоем,

истории вокруг всех раздражающей песчинки. Кроме бесконечных долгов – денежных и все прочих, тут был еще детектив с тем, кто кого и чем заразил. Она встречала Митю прямо на пляже, а островитяне стояли у нее за спиной плотным полукругом, как будто вот прямо здесь и сейчас собрались ее сжечь, если бы не Митя на лодке с нарисованными глазами. Неприличная история разрешилась удивительно просто – опять деньгами, сама она лечиться не стала бы, конечно, – мантры и остеопаты, но Митя растер две таблетки мегациллина прямо в крошечный чайник с благовониями.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Божественный момент, чтобы сделать первый глоток кофе – это то мгновение, когда напиток еще не потерял аромат, рот полон слюны, а терпеть уже нет больше сил. Этот момент длится ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы донести чашку ристретто до рта, так что начинать движение нужно немного заранее.

Купить: https://tellnovel.com/naumov_konstantin/ochen-siniy-ochen-shumnyy

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити